

АМЕЛИ НОТОМБ

ЖАЖДА | КНИГА СЕСТЕР

*Слова имеют над нами лишь ту власть,
которой мы сами их наделяем. — АМЕЛИ НОТОМБ*

18+

CoRpus

Амели Нотомб
Жажда. Книга сестер

«Издательство АСТ»

2019, 2022

УДК 821.133.1-31(493)

ББК 84(4Фра)-44

Нотомб А.

Жажда. Книга сестер / А. Нотомб — «Издательство АСТ», 2019, 2022

ISBN 978-5-17-157002-6

Неподражаемая Амели Нотомб прославилась блистательными короткими романами, которые она выпускает ежегодно вот уже больше тридцати лет. Переведенные в сорока странах от США до Японии, они принесли ей множество престижных премий, в том числе Гран-при Французской академии и одну из главных литературных наград Европы – премию Стрега. В эту книгу включены два ее романа, и оба они о любви. “Жажда” – история распятия и воскресения Иисуса Христа, рассказанная от его имени. В последние часы он вспоминает счастливые дни с Марией Магдалиной, думает об Отце, о страданиях и радостях тела и, главное, о любви. Амели Нотомб называет “Жажду” книгой своей жизни, а Христа – своим абсолютным героем. Роман вошел в шорт-лист Гонкуровской премии, а авторитетный журнал *Libe* включил его в список “100 лучших книг года”. “Книга сестер” – роман с “сюрпризами”, какие обычно прячет в своих книгах Амели Нотомб. Тристана с самого рождения растет в эмоциональном вакууме, пока не появляется на свет ее сестра. Родители, без памяти влюбленные друг в друга, не впускают в свою любовь-крепость никого, даже собственных детей. Взрослея и становясь женщиной, Тристана вынуждена преодолевать травму, полученную в раннем детстве.

УДК 821.133.1-31(493)

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-157002-6

© Нотомб А., 2019, 2022

© Издательство АСТ, 2019, 2022

Содержание

Жажда	7
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Амели Нотомб Жажда. Книга сестер

Amélie Nothomb
Soif
Le Livre des sœurs

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

Перевод с французского
Ирины Стаф,
Ирины Кузнецовой



© Soif © Éditions Albin Michel, 2019
© Le Livre des sœurs © Éditions Albin Michel, 2022
© Jean-Baptiste Mondino, фото на обложке
© И. Стаф, “Жажда”, перевод на русский язык, 2024
© И. Кузнецова, “Книга сестер”, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS ®

Жажда

Я всегда знал, что меня приговорят к смерти. В этой уверенности есть свои преимущества: я могу уделять внимание тому, что его заслуживает, – подробностям.

Я думал, суд надо мной станет пародией на правосудие. Он ею и стал, но не так, как мне казалось. Я представлял себе формальность, с которой быстро покончат, а мне дали право на судебное разбирательство. Прокурор предусмотрел все.

Один за другим проходили передо мной свидетели обвинения. Я не поверил своим глазам, когда явились новобрачные из Каны – те, для кого я сотворил первое чудо.

– Этот человек властен превращать воду в вино, – важно заявил супруг. – Однако он дожидался конца свадебного пира и лишь тогда использовал свой дар. Он упивался нашей тревогой и унижением, хотя с легкостью мог избавить нас от того и другого. Из-за него лучшее вино было подано после обычного. Он выставил нас на посмешище.

Я спокойно посмотрел в глаза своему обвинителю. Он выдержал мой взгляд, считал себя в полном праве.

Явился царедворец и рассказал, как неохотно я исцелил его сына.

– Как ваш сын чувствует себя сейчас? – не преминул спросить мой адвокат по назначению, самый бестолковый, какого только можно представить.

– Прекрасно. Велика заслуга! Такому магу довольно лишь слово сказать.

Тридцать семь человек, для которых я творил чудеса, вываливали перед всеми свое грязное белье. Больше всех меня повеселил бывший бесноватый из Капернаума:

– После изгнания беса моя жизнь стала совсем пресной!

Былой слепец пожаловался на уродство мира, былой прокаженный заявил, что ему больше не дают милостыню, синдикат рыбаков Тивериады обвинил меня в поощрении одной артели за счет остальных, Лазарь поведал, сколь отвратительно жить с трупным запахом, въевшимся в кожу.

Их явно не пришлось подкупать, даже уговаривать не пришлось. Все явились свидетельствовать против меня по доброй воле. Некоторые говорили, как им отрадно наконец выложить все, что накопило, в лицо преступнику.

В лицо преступнику.

С виду я спокоен. Мне стоило немалых усилий сдерживаться, слушая их излияния. Каждый раз я смотрел свидетелям в глаза – ласково и удивленно. Каждый раз они выдерживали мой взгляд – надменно, презрительно, с вызовом.

Мать исцеленного мною младенца даже обвинила меня в том, что я ей испортил жизнь.

– Пока малыш болел, он лежал тихо. А теперь брыкается, орет, ревет, ни минуты покоя, я перестала спать по ночам.

– Разве не вы просили моего подзащитного вылечить сына? – спросил адвокат.

– Вылечить – да, но чтобы он был не таким несносным, как до болезни.

– Возможно, вам следовало оговорить этот момент.

– Но он же всеведущ, нет?

Хороший вопрос. Я всегда знаю *Τι*¹, но никогда не знаю *Πώς*². Мне ведомо дополнение прямое и косвенное, но не обстоятельства. А значит, нет, я не всеведущ: наречия я выясняю по ходу дела, и они меня поражают. Верно говорят, что дьявол в деталях.

¹ Что (*греч.*).

² Как, каким образом (*греч.*).

На самом деле их не только не пришлось уговаривать быть свидетелями обвинения, но они сами страстно этого желали. Меня потрясло, с какой охотой каждый из них обличал меня. Причем без всякой необходимости. Все они знали, что меня приговорят к смерти.

Ничего таинственного в этом предвидении не было. Они знали мои способности и могли убедиться, что я не прибегнул к ним ради своего спасения. А значит, у них не было сомнений в исходе дела.

Зачем же им понадобилось непременно покрыть меня столь бессмысленным позором? Загадка зла – сущий пустяк в сравнении с загадкой посредственности. Они свидетельствовали, и я ощущал их удовольствие. Они вели себя со мной как ничтожества и наслаждались этим. Единственное, чем они остались недовольны, – это что мое страдание было не слишком явным. Не то чтобы я хотел лишить их этой радости, просто удивление во мне было намного сильнее негодования.

Я человек, ничто человеческое мне не чуждо. И все же я не понимаю природы того, что владело ими, когда они извергали все эти мерзости. И считаю это непонимание своим упущением, провалом.

Пилат получил на мой счет указания, и я видел его досаду – не потому, что я был ему хоть сколько-нибудь симпатичен, просто свидетели раздражали в нем человека разумного. Мое изумление обмануло его, он захотел дать мне возможность возразить на этот поток глупостей.

– Подсудимый, тебе есть что сказать? – обратился он ко мне рассудительно, как к равному.

– Нет, – ответил я.

Он покачал головой, явно решив, что бесполезно протягивать руку помощи человеку, настолько безразличному к собственной участи.

На самом деле я промолчал, потому что хотел сказать слишком много. И если бы заговорил, не сумел бы скрыть презрение. А испытывать презрение для меня мука. Я достаточно долго был человеком и знал: некоторые чувства нельзя подавить. Важно дать им пройти, не пытаюсь с ними бороться, тогда от них не остается и следа.

Презрение – спящий демон. В бездействии демон быстро зачихнет. Когда ты в суде, слова равноценны поступкам. Молчать о своем презрении значило не позволять ему действовать.

Пилат обратился к советникам:

– Свидетельства эти лживы, и доказательство тому – обвиняемый не прибегает ни к какому волшебству, чтобы себя освободить.

– Как раз по этой причине мы и требуем осудить его.

– Знаю. Лично я ничего иного не прошу. Только лучше бы у меня не создавалось впечатление, что я выношу приговор на основе какой-то околесицы!

– В Риме народ требует хлеба и зрелищ. Здесь ему нужен хлеб и чудеса.

– Хорошо. Если это политика, я не возражаю.

Пилат поднялся и объявил:

– Подсудимый, ты будешь распят.

Мне понравилась его экономия языковых средств. Дух латыни не терпит плеоназма. Скажи он: “Приговариваю тебя к смерти через распятие”, мне было бы противно. Распятие не имеет иного исхода.

И все же его слова, произнесенные вслух, произвели впечатление. Я взглянул на свидетелей и почувствовал их запоздалое смущение. Но ведь все они знали, что меня осудят, и в своем рвении активно способствовали такому приговору. А теперь делали вид, что находят его чрезмерным и потрясены варварской казнью. Кое-кто пытался перехватить мой взгляд, выразить свое несогласие с тем, что должно произойти. Я отвернулся.

Я не знал, что умру так. Нешуточная новость. Первым делом мне пришла мысль о боли. Разум уклонился от нее: нельзя постичь подобную муку.

Казню через распятие карают лишь за самые постыдные преступления. Такого унижения я не ожидал. Значит, вот чего потребовали от Пилата. Нет смысла теряться в догадках: Пилат не воспротивился. Он должен был приговорить меня к смерти, но мог, например, выбрать обезглавливание. В какой момент я разозлил его? Наверное, когда не отрекся от чудес.

Я не мог солгать – эти чудеса в самом деле сотворил я. И, вопреки утверждениям свидетелей, они стоили мне неслыханных усилий. Меня никто никогда не учил искусству чудотворства.

Тут мне пришла в голову забавная мысль: по крайней мере, пытка, что меня ждет, не потребует никаких чудес. Достаточно просто не сопротивляться.

– Его распнут сегодня? – спросил кто-то.

Пилат задумался, взглянул на меня. И наверное, увидел, что чего-то не хватает, потому что ответил:

– Нет. Завтра.

Когда меня снова отвели в камеру и оставили одного, я понял, что он хотел заставить меня испытать: страх.

* * *

Он был прав. До этой ночи я толком не знал, что это такое. В Гефсиманском саду, накануне ареста, слезы мои были вызваны печалью, оставленностью.

Теперь я познавал страх. Не страх смерти, самую расхожую абстракцию, но страх распятия – очень конкретный страх.

Я убежден, убежден неподдельно, что воплощен сильнее любого человека. Когда я вытягиваюсь, ложась спать, эта простая расслабленность тела доставляет мне столько удовольствия, что я еле сдерживаю стон. Я бы вздыхал от наслаждения над самой скромной похлебкой, над чашей воды, даже тепловатой, если б не призывал себя к порядку. Случалось, я плакал от удовольствия, вдыхая утренний воздух.

Обратное тоже проверено: самая легкая зубная боль мучит меня непомерно. Помню, я проклинал судьбу из-за какой-то занозы. Эту свою вторую, изнеженную природу я скрываю, как и первую: она не вяжется с тем, что я призван собой представлять. Очередное недоразумение.

За тридцать три года жизни я убедился, что воплощение есть величайший успех моего отца. Чтобы бестелесной силе пришла мысль изобрести тело – это гениально до невероятия. Как мог творец не поразиться своему творению, последствий которого он не понимал?

Хочется сказать, что потому-то он меня и породил, но это неправда.

А был бы хороший повод.

Люди жалуются на телесное несовершенство, и они правы. Все объясняется источником: чего бы стоил дом, начерченный бездомным архитектором? Отлично выходит лишь то, чем каждый день пользуешься. У отца никогда не было тела. И по-моему, в своем неведении он справился просто потрясающе.

Страх мой был в эту ночь физическим головокружением при мысли, что мне предстоит вытерпеть. От истязаемых ждут, что они будут на высоте. Если они не орут от боли, все говорят об их мужестве. Подозреваю, речь о чем-то другом; о чем именно, увижу.

Я страшился гвоздей, которыми мне пробьют руки и ноги. Глупо: наверняка будут муки намного сильнее. Но это я, по крайней мере, мог себе вообразить.

Тюремщик сказал:

– Постарайся уснуть. Завтра тебе понадобятся все силы. – И добавил, заметив мой ироничный взгляд:

– Не смейся. Чтобы умереть, надо быть здоровым. Я тебя предупредил.

Это точно. К тому же это моя последняя возможность поспать, а я так это люблю. Я попытался, растянулся на полу, отдал тело отдыху – но он отверг меня. Стоило закрыть глаза, как вместо сна мне являлись ужасающие картины.

Тогда я поступил как все: чтобы одолеть невыносимые мысли, стал думать о другом.

Я заново пережил свое первое, самое любимое чудо. И с облегчением убедился, что убийственное свидетельство новобрачных не замутнило моих воспоминаний.

А начиналось все, однако, довольно скверно. Побывать на свадьбе вместе с собственной матерью – нелегкий опыт. Мать, конечно, чистая душа, но все равно нормальная женщина. Поглядывала на меня, как бы говоря: а ты, сынок, чего ждешь, почему не найдешь себе жену? Я делал вид, что ничего не замечаю.

Признаться, мне не нравятся бракосочетания. Это какое-то безотчетное чувство. Таинство подобного рода нагоняет на меня тоску, тем более необъяснимую, что меня это все не касается. Я не женюсь, и нисколько об этом не жалею.

Свадьба была самая обычная: на таких пирах люди больше изображают радость, чем радуются на самом деле. Я знал, что от меня ждут чего-то еще. Чего именно? Непонятно.

Еда первоклассная: хлеб и жареная рыба, вино. Вино так себе, но горячий хлеб прямо из печи похрустывал на зубах, а идеально посоленная рыба приносила безмерное удовольствие. Я сосредоточенно ел, старался не упустить ничего из всех этих вкусов и текстур. Мать явно смущало, что я не беседую с гостями. В этом я как раз похож на нее: она неразговорчива. Я не способен говорить ни о чем, и она тоже.

К новобрачным я испытывал то вежливое безразличие, с каким мы все относимся к друзьям родителей. Видел я их, кажется, третий раз в жизни, а они, как принято, преувеличивали: “Иисуса мы знали еще совсем малышом”, “С бородой ты совсем на себя не похож”. От излишней фамиллярности мне всегда немного неловко. Лучше бы я этих молодоженов вовсе никогда не видел. Наши отношения были бы искреннее.

Мне не хватало Иосифа. Этот славный человек, такой же молчаливый, как мы с матерью, обладал даром вводить людей в заблуждение: он так напряженно слушал, что казалось, будто он отвечает. Я не унаследовал этого его достоинства. Когда люди говорят ни о чем, я даже не притворяюсь, что слушаю.

– О чем думаешь? – шепнула мать.

– Об Иосифе.

– Почему ты его так называешь?

– Ты сама прекрасно знаешь.

Я никогда не был уверен, что она прекрасно знает, но если бы пришлось объяснять такие вещи собственной матери, мы бы вовек не разобрались.

Поднялся какой-то возмущенный шум.

– Вина нет у них, – сказала мать.

Я не понял, в чем проблема. Ну кончилось это пойло, какая важность! Прохладная вода лучше утоляет жажду. Я продолжал сосредоточенно есть и не сразу понял, что нехватка вина для этого семейства – неизбывный позор.

– У них больше нет вина, – с нажимом повторила мать.

У меня под ногами разверзлась пропасть. Все-таки мать – странная женщина. Хочет, чтобы я был нормальным и в то же время творил чудеса!

Как одиноко мне было в эту минуту! Увиливать дальше было невозможно. И тут меня, как молнией, пронзило озарение. Я сказал:

– Принесите сосуды с водой.

Распорядитель велел исполнить мою просьбу, воцарилась мертвая тишина. Стоило мне задуматься, все бы пропало. Нужно было не раздумье, а нечто противоположное. Я исчез. Я знал, что сила таится прямо под кожей и что выпустить ее можно, устранив мысль. Я передал слово тому, что отныне буду звать оболочкой, а что случилось дальше, не знаю. На какое-то необозримое время я перестал существовать.

Когда я пришел в себя, пирующие ликовали:

– Это лучшее вино во всей округе!

Каждый подносил к губам новое вино с таким видом, какой подобает разве что на богослужении. Я подавил безудержный хохот. Значит, отец счел нужным, чтобы я открыл в себе эту силу по случаю нехватки вина. Вот так шутник! И не поспоришь. Разве может быть что-то важнее вина? Я достаточно долго был человеком и знал, что радость не дана изначально и отличное вино – часто единственный способ ее обрести.

Веселье разлилось по свадьбе. У новобрачных наконец-то были счастливые лица, ими завладел танец. Дух вина не обошел никого.

– Нельзя подавать лучшее вино после обычного! – говорили хозяевам.

Подтверждаю: говорили не в упрек. К тому же это вопрос очень спорный. По-моему, наоборот. Лучше начинать с простого вина, чтобы в сердце сперва поселилась радость. Вот когда человек радостен, как должно, тогда он способен воспринять отборное вино, оказать ему заслуженное, наивысшее внимание.

Это мое любимое чудо. Выбор невелик – это единственное чудо, какое мне понравилось. Я обнаружил оболочку и пришел в восхищение. Когда впервые делаешь что-то настолько превыше самого себя, тут же забываешь безмерное усилие, помнится только потрясающий результат.

К тому же речь шла о вине, это был праздник, пир. Потом все испортилось, речь пошла о страдании, болезни, смерти или ловле бедных рыбешек, которых я бы охотно оставил в живых и на воле. А главное, пользоваться силой оболочки, зная, что к чему, оказалось в тысячу раз тяжелее, чем открыть ее по наитию.

Хуже всего – ожидания людей. В Кане никто, кроме матери, ничего от меня не требовал. А после, куда бы я ни направился, все уже было готово, на пути меня уже поджидал лежачий больной или прокаженный. Теперь совершить чудо значило не оказать милость, а исполнить долг.

Сколько раз я читал в глазах тех, что протягивали мне культю или умирающего, не мольбу, а угрозу! Решись они выразить свою мысль, она бы звучала так: “Ты всеми этими глупостями прославился, так изволь подтверждать, не то хуже будет!” Бывало, я не мог совершить требуемое чудо, мне не хватало сил исчезнуть, чтобы высвободить мощь оболочки, – какая обрушивалась на меня ненависть!

Позже я все обдумал и не одобрил это чудотворство. Оно извратило то, ради чего я пришел, любовь перестала быть бескорыстной, превратилась в услугу. Не говоря уж о том, что открылось мне утром на суде: никто из тех, для кого я творил чудеса, не испытывает ко мне ни малейшей благодарности, они горько попрекают меня чудесами – все, даже новобрачные из Каны.

Не хочу вспоминать об этом. Хочу помнить только веселье в Кане, наше невинное счастье, когда мы пили вино, взявшееся ниоткуда, этот чистый первый хмель. Он чего-то стоит только в компании. В тот вечер в Кане мы захмелели все, лучше некуда. Да, мать была навеселе, и ей это шло. После смерти Иосифа я редко видел ее счастливой. Мать плясала, я плясал с ней,

с моей матушкой, я ее так люблю. Мой хмель говорил ей, что я ее люблю, и я чувствовал ее невысказанный ответ – сынок, я знаю, что с тобой связано что-то особенное, подозреваю, что однажды это станет проблемой, но сейчас я просто горжусь тобой и счастлива, что пью доброе вино, которое ты нам сотворил своим волшебством.

В тот вечер я был пьян, и это был святой хмель. До воплощения я ничего не весил. Парадокс, но чтобы познать легкость, надо иметь вес. Винные пары освобождают от тяжести – кажется, что сейчас взлетишь. Дух не летает, он беспрепятственно перемещается, это совсем другое. У птиц есть тело, их взлет сродни победе. Не устану повторять: лучшее, что может быть, – это иметь тело.

Боюсь, завтра, когда тело мое будут истязать, я стану думать иначе. Но стоит ли из-за этого отвергать открытия, которые оно мне принесло? Через тело я познал величайшие радости жизни. Надо ли уточнять, что ни душа моя, ни ум не остались в стороне?

Чудеса мои тоже получались через тело. То, что я называю оболочкой, физической природы. Чтобы до нее добраться, нужно на какое-то время устранить дух. Я никогда не был другим человеком, только самим собой, но твердо убежден, что этой силой наделен каждый. Прибегают к ней крайне редко по единственной причине: ею страшно трудно пользоваться. Требуется мужество и сила, чтобы отключиться от духа, и это не метафора. Кому-то это удалось до меня, кому-то удастся после меня.

О времени мне известно то же, что о собственной судьбе: я знаю *Ti*, но не знаю *Póς*. Имена относятся к *Póς*, а потому мне неведомо имя будущего писателя, который скажет: “Самое глубокое в человеке – это кожа”³. Он будет в шаге от откровения, но в любом случае даже те, кто станет его славить, не поймут, насколько конкретны эти слова.

Это не собственно кожа, это прямо под ней. Там обитает всесилье.

* * *

Сегодня ночью чуда не будет. Уклониться от того, что ждет меня завтра, – об этом не может быть и речи. Но как же хочется.

Один только раз я использовал силу оболочки во вред. Я был голоден, а плоды смоковницы не созрели. Я так жаждал впиться зубами в нагретую солнцем смокву, сочную, сладкую, что проклял дерево, обрек его на бесплодие. Сослался на притчу, не самую убедительную.

Как я мог совершить такую несправедливость? Сезон смоквы еще не настал. Это мое единственное губительное чудо. Воистину в тот день я был заурядным. Не удовлетворив чревоугодия, позволил желанию превратиться в гнев. Но ведь чревоугодие – такая прекрасная вещь. Стоило лишь подождать, сказать себе, что через месяц-другой я смогу его утолить.

У меня есть недостатки. Во мне живет гнев, только и ждет случая вырваться наружу. Был же эпизод с торговцами в Храме – но там хоть дело мое было верное. От такого до слов “не мир пришел Я принести, но меч” отнюдь не один шаг.

Оказывается, накануне смерти я не стыжусь ничего, кроме смоковницы. Тут я и правда взъялся на невинного. Нет, я не стану киснуть в бесплодных сожалениях, просто меня злит, что нельзя сходить к этому дереву, собраться с мыслями, обнять его, попросить прощения. Пусть бы оно меня простило, проклятию тут же пришел бы конец, оно бы снова могло плодоносить, гордиться сладостной тяжестью плодов на ветвях.

Мне вспоминается сад, по которому мы шли с учениками. Яблони сгибались под грузом плодов, мы объелись этими яблоками, лучших мы в жизни не ели, хрусткими, душистыми, сочными. Остановились, только когда в нас уже не влезало, когда живот готов был лопнуть, и мы повалились на землю, смеясь над своим обжорством.

³ Поль Валери. Навязчивая идея, или Двое у моря (1931). (Здесь и далее – прим. перев.)

– Сколько яблок, которые мы не сможем съесть, которые никто не съест! – сказал Иоанн. – Как жалко!

– Кому жалко? – спросил я.

– Деревьям.

– Думаешь? Яблони счастливы нести плоды свои, даже если никто их не съест.

– Откуда ты знаешь?

– Стань яблоней.

Иоанн помолчал немного, потом сказал:

– Ты прав.

– Жалко – это нам, при мысли, что не можем съесть все.

Общий хохот.

С яблоней я был куда лучшим человеком, чем со смоковницей. Почему? Потому что утолил свое чревоугодие. Получив удовольствие, мы становимся лучше, все очень просто.

Сейчас, когда я один в камере, я чувствую себя той проклятой мною смоковницей. Это печально, и я поступаю как все – пытаюсь думать о другом. У этого способа одна проблема: он не слишком хорошо работает. Яблоня, смоковница; я задался вопросом, на каком дереве повесился Иуда. Мне сказали, что ветка сломалась. Наверное, дерево непрочное, ведь Иуда весил немного.

Я всегда знал, что Иуда предаст меня. Не знал, в соответствии с природой моего предвидения, как он возьмется за дело.

Наша с ним встреча особенно запала мне в душу. Я был в каком-то глухом захолустье и никого там не понимал. Я говорил и чувствовал, как растет их враждебность – такая, что сам видел себя со стороны и разделял их оторопь перед этим клоуном, явившимся проповедовать любовь.

В толпе был тощий, мрачный мальчик, из него так и сочилась досада. Он обратился ко мне с такими словами:

– Вот ты говоришь, что надо возлюбить ближнего своего, а разве ты меня любишь?

– Конечно.

– Какая нелепость! Меня никто не любит. С чего бы тебе любить меня?

– Чтобы любить тебя, не нужны причины.

– Ну-ну. Полная ерунда.

Люди захохотали, соглашаясь. Его это, похоже, тронуло: он явно впервые заслужил одобрение в своей деревушке.

Тогда-то мне и открылось, что будет: человек этот предаст меня. Сердце мое сжалось.

Собравшиеся разбрелись. Передо мной стоял только он.

– Хочешь пойти с нами? – спросил я.

– А мы – это кто?

Я указал на учеников, сидящих поодаль на камнях:

– Это мои друзья.

– А я кто?

– Ты мой друг.

– Откуда ты знаешь?

Я понял, что отвечать бесполезно. С ним было что-то не так.

Думаю, у всех есть друг такого рода: друг, про которого другие не понимают, почему он наш друг. Все ученики присоединились сразу. С Иудой все было неочевидно.

Он делал для этого все. Всякий раз, чувствуя одобрение, он говорил так, чтобы его отвергли:

– Отстаньте, у меня с вами нет ничего общего!

Дальше начинались бесконечные разговоры, в которых прорывалась его неприязнь:

- Чем же ты так от нас отличаешься, Иуда?
- Я в сорочке не родился.
- Как и большинство из нас.
- Это же видно, я не такой, как вы, разве нет?
- Что значит быть таким, как мы? К примеру, Симон и Иоанн совсем не похожи.
- Похожи: стоят перед Иисусом, разиня рот.
- Они не стоят перед Иисусом, разиня рот, они любят его и восхищаются им, как все мы.
- А я нет. Я его, конечно, люблю, но вовсе им не восхищаюсь.
- Тогда почему ты идешь с ним?
- Потому что он попросил.
- Тебя никто не принуждал.
- Мне попадалась куча других пророков, ничем не хуже.
- Он не пророк.
- Пророк, мессия – велика разница.
- Это совсем не одно и то же. Он несет любовь.
- И что такое его любовь?

С Иудой постоянно приходилось все начинать с нуля. Он бы разочаровал кого угодно, он не раз разочаровывал меня. Любить его было сродни вызову, и оттого я любил его еще больше. Не потому, что мне нравится трудная любовь, наоборот, но потому, что с ним этот излишек был необходим.

Если бы я общался только с остальными учениками, я бы, наверное, забыл, что пришел в мир ради таких, как Иуда, – ходячих проблем, тех, кто всем мешает, тех, про кого Симон говорит “как кость в горле”.

“Что такое его любовь?” Хороший вопрос. Эту любовь нужно искать в себе каждый день, каждую ночь. А когда найдешь, ее сила так очевидна, что непонятно, почему так трудно было ее достичь. К тому же надо все время оставаться в ее русле. Любовь – это энергия, а значит, движение, в ней ничто не застаивается, надо лишь кинуться в ее поток, не спрашивая себя, как выплывешь, ведь она превышает всякого правдоподобия.

Когда пребываешь в ней, видишь ее. Это не метафора: сколько раз мне было дано уловить луч света, что связует двоих, любящих друг друга? Когда этот свет направлен на вас, он не так ясно виден, но сильнее ощутим: чувствуешь, как лучи проникают в кожу – нет более приятного ощущения. Будь мы способны прислушаться в такой момент, то услышали бы, как потрескивают искры.

Фома верит только тому, что видит. Иуда не верил даже своим глазам. Говорил: “Не желаю, чтобы чувства меня обманывали”. Когда прописную истину изрекают впервые, она впечатляет.

Иуда – из тех персонажей, что вызовут больше всего толкований в Истории. Неудивительно, если сыграл подобную роль. Станут утверждать, что он – эталон предателя. Гипотезе этой придется нелегко. Ясно, что вихрь, поднятый этим обвинением, приведет к обратному выводу. На основании тех же скудных сведений Иуду объявят самым любящим, самым чистым, самым невинным из учеников. Суждения людей так предсказуемы, что меня восхищает, насколько всерьез они к себе относятся.

Иуда был странный. Что-то в нем не поддавалось никакому анализу. Он был очень слабо воплощен. Точнее, он воспринимал только негативные ощущения. Говорил: “У меня спина болит” с таким видом, будто вывел целую теорему.

Если я говорил ему:

- Как приятно, такой весенний ветерок.

Он возражал:

– Такое кто угодно сказать может.

– Верно, и потому это еще упоительнее, – настаивал я.

Он пожимал плечами: к чему терять время, отвечая простаку.

Поначалу все ученики натерпелись от него. Они были вежливы, пытались его утешать. От этого Иуда становился очень агрессивным. Мало-помалу они поняли, что лучше с ним лишний раз не заговаривать. Но и не замечать его тоже не стоило: его уязвимость пугалась молчания еще больше, чем слов.

Иуда был вечной проблемой, прежде всего для себя самого. Сердился, когда не было ни малейшей причины сердиться. Если возникали поводы просто возразить, выходил из себя. Значит, лучше всего было находиться с ним рядом в невзгодах, тогда он держался ровнее. До знакомства с ним я не ведал, что существует порода вечно обиженных людей. Не знаю, был ли он такой первый, но знаю, что не последний.

Мы любили его. Он понимал это и старался открыть нам глаза:

– Я не ангел, характер у меня отвратительный.

– Мы заметили, – с улыбкой отвечал кто-нибудь из нас.

– Что? Ишь какой, скажи на милость!

Он либо вел свою воображаемую тяжбу, либо старательно распускал ткань нашей привязанности.

Он ненавидел ложь. Заговорив с ним об этом, я заметил, что он ее не опознает. Например, не умеет различать ложь и секрет.

– Не раскрывать какие-то правдивые сведения – не значит лгать, – сказал я.

– Если не говоришь всей правды, значит, лжешь, – ответил он.

Он не сдавался. Теорией его убедить не удавалось, я пробовал прибегнуть к казуистике.

– По новому закону всех горбунов казнят, твой сосед горбат, власти спрашивают, знаешь ли ты какого-нибудь горбуна. Конечно же, ты говоришь “нет”. Это не ложь.

– Нет, это ложь.

– Нет, это секрет.

Поживи Иуда в своем теле подольше, он, быть может, приобрел бы то, чего ему не хватало, – гибкость. То, чего не сознает ум, понимает тело.

До воплощения я мало что помню. Вещи в буквальном смысле ускользали от меня: разве можно сохранить в памяти то, чего не почувствовал? Нет более великого искусства, чем искусство жить. Лучшие художники – те, чьи чувства самые чуткие. Бесполезно оставлять след на чем-то, кроме собственной кожи.

К телу стоит прислушиваться, оно всегда умнее. В будущем, не знаю когда, у людей будут измерять интеллектуальный коэффициент. Бесполезная вещь. Самую большую ценность человека, меру его воплощенности, по счастью, можно оценить только интуитивно.

Смущать в этом деле будет одно – люди, способные покидать свое тело. Знал бы кто, насколько это легко, никто бы так не восхищался этим подвигом, в лучшем случае бесполезным, в худшем – опасным.

Если благородный дух выходит из тела, он не принесет вреда. Увлекательно, наверно, совершить путешествие только потому, что до сих пор его не совершал. Так же забавно, как пройти по своей улице в сторону, обратную той, в какую ходишь каждый день. И все, точка. Проблема в том, что этот опыт станут перенимать люди с духом посредственным. Отцу надо было покрепче запереть воплощение. Само собой, я понимаю: он думал о свободе человека. Но результаты разрыва между слабыми духом и их телами станут катастрофическими и для них самих, и для других.

Воплощенный никогда не совершит ничего ужасного. Если он убьет, то защищаясь. Он не выйдет из себя без справедливой причины. Зло всегда коренится в духе. Без смирительной рубашки тела дух может начать вредить.

И в то же время я понимаю. Я тоже боюсь страданий. Люди стремятся развоплотиться, чтобы иметь надежный запасной выход. У меня его завтра не будет.

* * *

Ночи, из которой я пишу, не существует. Евангелия говорят об этом прямо. Свою последнюю ночь на свободе я провожу в Гефсиманском саду. Назавтра мне выносят приговор и немедленно приводят его в исполнение. Впрочем, тут я вижу своего рода гуманизм: заставлять человека ждать значит множить его муки.

И все-таки это неизведанное измерение есть, мне не кажется, что я его выдумал – время иного порядка, я его вставил между собой и смертью. Я такой же, как все, я боюсь умирать. Не думаю, что мне дадут поблажку.

Мой ли это выбор? Похоже, что так. Как я мог выбрать быть собой? По той же причине, по какой делают выбор в огромном большинстве случаев, – по недомыслию. Если б мы все осмыслили, то выбрали бы не жить.

И все равно мой выбор был наихудшим. Значит, мое недомыслие было самым большим. Хорошо еще, что в любви все иначе. Потому и знаешь, что влюбился, – по тому, что не выбираешь. Люди с чересчур раздутым “я” не влюбляются: отсутствие выбора для них невыносимо. Они сходятся с человеком, которого выбрали. Это не любовь.

В тот немыслимый момент, когда я выбрал свою судьбу, я не знал, что ею мне предназначено полюбить Марию Магдалину. Кстати, я буду звать ее Магдалиной: я не в восторге от двойных имен, а называть ее Марией из Магдалы, по-моему, скучно. Просто Мария – это имя для меня исключено. Негоже путать возлюбленную с матерью.

У любви нет причин, потому что не выбираешь. Все “потому что” придумывают задним числом, ради удовольствия. Я полюбил Магдалину, как только ее увидел. Мне возразят: если эту роль сыграло зрение, причиной можно считать невероятную красоту Магдалины. Но дело в том, что она молчала, а значит, увидел я ее прежде, чем услышал. Голос у Магдалины еще красивее, чем внешность: если бы я сначала услышал его, результат был бы тот же. Продолжай я эти рассуждения о трех остальных чувствах, пришлось бы вести бесстыдные речи.

В том, что я полюбил Магдалину, нет ничего удивительного. То, что она влюбилась в меня, совершенно невероятно. Тем не менее это случилось в тот же миг, как она меня увидела.

Мы рассказывали друг другу эту историю тысячу раз, зная, что она – вымысел, мы ведь все пропустили. И правильно делали, что рассказывали: нам это доставляло бесконечное удовольствие.

– Увидев твое лицо, я не мог опомниться. Я не знал, что бывает такая красота. А потом ты посмотрела на меня, и стало еще хуже: я не знал, что можно так смотреть. Когда ты на меня смотришь, мне трудно дышать. Ты на всех так смотришь?

– Не думаю. Я не тем славлюсь. Ты на себя оборотись. Твой взгляд знаменит, Иисус. Люди специально приходят, чтобы ты на них посмотрел.

– Я ни на кого не смотрю так, как на тебя.

– Надеюсь.

Любовь – средоточие уверенности и сомнения: мы так же уверены, что любимы, как и сомневаемся в этом, не поочередно, а с ошеломительной одновременностью. Пытаться избавиться от этого сомневающегося начала, задавать возлюбленной тысячи вопросов значит отрицать коренную двойственность любви.

Магдалина знала многих мужчин, а я не познал ни одной женщины. И все же отсутствие опыта делало нас равными. О том, что с нами происходило, мы ведали не больше младенцев. Вся наука в том, чтобы с восторгом принять это судорожное состояние. Осмелюсь сказать, что у меня выходит отлично, и у Магдалины тоже. С ней все еще удивительнее: мужчины приучили ее к худшему, но она не стала недоверчивой. Это ее заслуга.

Как мне ее не хватает! Я призываю ее в мыслях, но это никакая не замена. Быть может, было бы достойнее не позволить ей видеть меня таким. Но все равно я отдал бы все на свете, чтобы снова увидеть ее и прижать к себе.

Говорят, любовь ослепляет. Я убедился в обратном. Любовь вселенская есть акт щедрости, он предполагает мучительную прозорливость. Что же до влюбленности, то она открывает взгляду сокровища, невидимые невооруженным глазом.

Красота Магдалины – факт, известный всем. Но никто лучше меня не понял, до какой степени она красива. Чтобы выдерживать такую красоту, нужно мужество.

Часто я задавал ей вопрос, отнюдь не риторический:

– Каково это, быть настолько красивой?

Она отвечала уклончиво:

– Смотря с кем.

Или:

– Недурно.

Или:

– Ты такой милый.

В последний раз я был настойчив:

– Я тебя не из любезности спрашиваю. Мне правда интересно.

Она вздохнула:

– Пока я не узнала тебя, в тех редких случаях, когда я сознавала это, меня это просто убивало. С тех пор как ты смотришь на меня, я способна этому радоваться.

Среди вещей, которые я ей не говорил, потому что она могла их неверно понять, есть и такая: из всех радостей, какие я с ней пережил, ничто не могло сравниться с созерцанием ее красоты.

– Перестань на меня так смотреть, – иногда говорила она.

– Ты моя кружка воды.

Ни одно наслаждение даже близко не сравнится с тем, что приносит кружка воды, когда подымаешь от жажды.

Единственный евангелист, в котором проявился талант настоящего писателя, – Иоанн. Именно поэтому его слову меньше всего можно верить. “Кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовек” – такого я никогда не говорил, это была бы бессмыслица.

Я не случайно выбрал этот край на земле. Мне было мало, чтобы его раздирали политические распри, мне нужна была земля, где царит сильная жажда. Ни одно ощущение так не сходно с тем, что я хочу внушить, как жажда. Быть может, именно поэтому никто не испытывал ее сильнее, чем я.

Воистину говорю вам: лелейте в себе то, что чувствуете, когда умираете от жажды. Вот что такое мистический порыв. Это не метафора. Когда мы перестаем хотеть есть, это называется сытостью. Когда мы перестаем быть усталыми, это называется отдыхом. Когда мы перестаем страдать, это называется утешением. Когда мы перестаем хотеть пить, это не называется никак.

Язык в мудрости своей понял, что не нужно создавать антоним к слову “жажда”. Можно утолить жажду, но слова “утоленность” не существует.

Некоторые люди думают, что они не мистики. Они ошибаются. Чтобы достичь этого состояния, довольно какое-то время умирать от жажды. А тот невыразимый момент, когда жаждущий подносит к губам кружку с водой, есть Бог.

Это миг абсолютной любви и безграничного восхищения. Пока он длится, переживающий его непременно чист и благороден. Я пришел учить этому порыву, вот и все. Мое слово настолько просто, что сбивает с толку.

Это так просто, что обречено на провал. Избыток простоты перекрывает понимание. Надо познать мистический транс, чтобы достичь той роскоши, какую человеческий дух в обычное время считает острой нуждой. Благая весть: предельная жажда и есть идеальный мистический экстаз.

Я советую длить его. Пусть жаждущий оттягивает момент питья. Не до бесконечности, конечно. Вовсе не нужно подвергать опасности свое здоровье. Я не прошу медитировать над жаждой, я прошу ощутить ее до самого дна, телом и душой, и лишь потом утолить.

Попробуйте проделать такой опыт: после того как вы долго умирали от жажды, не пейте всю кружку залпом. Отхлебните, подержите воду во рту несколько секунд, прежде чем проглотить. Измерьте это изумленное восхищение. Оно и есть Бог.

Повторяю, это не метафора Бога. Любовь, какую вы в этот миг питаете к глотку воды, есть Бог. Я тот, кому дано испытывать эту любовь ко всему сущему. Это и значит быть Христом.

До сих пор это было нелегко. Завтра будет чудовищно трудно. И чтобы у меня получилось, я принимаю решение, оно мне поможет: не пить воду из кувшина, который оставил мне в камере тюремщик.

Меня это печалит. Как бы мне хотелось испытать в последний раз лучшее из ощущений, мое любимое. Я сознательно отказываюсь. Это неосторожно: обезвоживание мне навредит, когда придется нести крест. Но я себя знаю и понимаю: жажда меня защитит. Она может принять такие масштабы, что притупятся все прочие муки.

* * *

Надо попытаться уснуть. Я растягиваюсь на полу темницы, грязном, хуже земли. Я научился не замечать зловония. Надо просто думать, что ничто не пахнет плохо нарочно; не знаю, правда ли это, зато от этой мысли любой смрад становится приемлемым.

Меня всегда поражало, как в лежащем положении исчезает вес. Вешу я мало, но какое избавление! Воплощение означает, что весь этот груз плоти таскаешь с собой. В мое время ценятся люди дородные. Я отверг этот канон, я худой – нельзя быть упитанным и говорить, что пришел ради бедняков. Магдалина считает меня красивым, но только она одна. Собственная мать стонет при виде меня: “Ешь, на тебя без слез не взглянешь!”

Ем я совсем чуть-чуть. Носи я на себе больше своих пятидесяти пяти кило, у меня была бы одышка. Я заметил, что из-за худобы многие отказываются меня слушать. В их глазах я читаю: “Откуда взяться хоть капле мудрости в этакой хворостине?”

Еще и потому главным над учениками я выбрал Петра: он не такой вдохновенный, как Иоанн, верен мне меньше первого встречного, но зато обладает одним достоинством – он великан. Когда говорит именно он, людей это впечатляет. Самое смешное, что ко мне это тоже относится. Я знаю, что он отречется от меня, но какое доверие он мне внушает! И не только потому, что он высок и хорошо сложен. Я обожаю смотреть, как он ест. Не привередничает, не ломается – хватает еду и пожирает ее с грубым наслаждением удальца. Пьет прямо из бадьи, залпом опорожняет ее, рыгает и вытирает рот тыльной стороной могучей ладони. Он нисколько не рисуется, просто не обратил внимания, что остальные едят иначе. Его нельзя не любить.

А Иоанн ест, как я. Может, он в своей воздержанности подражает мне, не знаю. Факт тот, что из-за этого в симпатии возникает отстраненность. Все-таки люди – странные существа! Ничто человеческое мне не чуждо. За столом мне так и хочется сказать Иоанну: “Давай лопай, как ты надоел со своими ужимками!” Какой абсурд, ведь я веду себя точно так же.

Чтобы любить Иоанна, мне надо выйти из-за стола. Когда он шагает рядом и слушает меня, я его люблю. Все говорят, что я умею слушать. Не знаю, что чувствует человек, когда я его слушаю. Знаю только, что когда слушает Иоанн, это любовь, и она меня потрясает.

Когда я говорю с Петром, он таращит на меня глаза и слушает примерно минуту. Потом я вижу, как слабеет его внимание. Он не виноват, он этого не сознает, его взгляд блуждает, ищет, за что бы зацепиться. Стоит мне обратиться к Иоанну, он чуть прикрывает веки, словно зная, что мои признания растрогают его и приведут в смятение. Когда я умолкаю, он, помолчав немного, поднимает на меня сияющие глаза.

Магдалина слушает меня с таким же напряжением. Меня это меньше восхищает по одной несправедливой причине: сейчас у нас женщин учат слушать именно так. Тем не менее женщины редко умеют настолько хорошо слушать. Как бы мне хотелось провести эту последнюю ночь с ней! Она говорила: “Давай спать сном безумной любви”. Потом обнимала меня всем телом и тут же засыпала. Я всегда спал довольно плохо, так что она как будто спала за нас обоих.

Благодаря ей я узнал, что спать – это акт любви. Когда мы так спали, наши души сплетались еще теснее, чем когда мы занимались любовью. Нас надолго уносило вместе в ничто. Когда я наконец погружался в сон, у меня возникало восхитительное чувство, будто мы идем ко дну.

При пробуждении иллюзия подтверждалась. Я настолько терял ориентацию, что наше ложе всякий раз было берегом, куда нас выбросило и где мы, потрясенные, обнаруживали, что живы. Какая благодать просыпаться на побережье рядом с возлюбленной!

Впечатление, что мы уцелели, было таким сильным, что рассвет не мог не принести толику радости. Первое объятие, первое слово любви, первый глоток воды.

Если поблизости была река, Магдалина звала меня окунуться. Говорила: “Нет ничего лучше, чтобы начать утро”. Действительно, ничего нет лучше, чтобы смыть скверну слишком хорошей ночи.

– И попей заодно, – добавляла она, – ведь больше мне нечем угостить тебя.

У нас никогда не было чем перекусить на завтрак. От мысли о еде, едва успел встать с постели, меня всегда подташнивало, трудно поверить, что это входит в обычай. Но несколько глотков воды бывали очень кстати, чтобы освежить дыхание.

От этих упоительных мыслей никакого снотворного эффекта. Если я в самом деле хочу уснуть, надо постараться ощутить скуку. Чтобы скучать по своей воле, воля нужна железная. Увы, может, из-за неотвратимой смерти мне ничто не кажется скучным: даже речи фарисеев, которые я пропускал мимо ушей, теперь видятся мне комичными. Я пытаюсь припомнить, как силялся Иосиф научить меня плотничать. Каким скверным учеником я был! И какой растерянный вид был у Иосифа, неспособного сердиться!

“Христос” означает “добрый”. Ирония в том, что мои родители-люди были в тысячу раз добрее меня. Два человека сходной доброты нашли друг друга – это озадачивает. Я читаю в сердцах, я знаю, когда кто-то силится быть добрым; впрочем, я сам нередко веду себя так же. Иосиф был добр от природы. Я стоял рядом с ним, когда он умер, он даже не проклинал нелепый несчастный случай, стоивший ему жизни, только улыбнулся мне и сказал:

– Смотри, чтобы с тобой такого не случилось.

И угас.

Нет, Иосиф, я умру не потому, что упаду с крыши.

Мама пришла слишком поздно.

– Он не мучился, – сказал я.

Она нежно погладила его по лицу. Мои родители не были влюблены друг в друга, но очень друг друга любили.

Мать тоже гораздо лучше меня. Зло ей настолько чуждо, что она не узнает его, когда встречается. Завидую ее неведению. Мне зло не чуждо. Чтобы распознать его в другом, мне обязательно нужно было носить его в себе.

Я не жалею об этом. Не будь во мне этого темного следа, я бы никогда не смог влюбиться. Влюбленность не ищет тех, кто чужд злу. В самом этом состоянии нет никакого зла, но чтобы познать его, надо таить в себе бездны, они и позволяют явиться столь могучему головокружению.

Это не значит, что я дурной мужчина, а Магдалина – дурная женщина. Темный след в нас дремал. Конечно, больше в Магдалине, чем во мне. Не она ведь вспыхнула гневом при виде торговцев в Храме. Какое жуткое воспоминание этот гнев, пусть даже дело было правое! Ощущение, что в крови разливается яд и велит мне с криком вышвырнуть этих людей вон, мне страшно не понравилось.

К счастью, сейчас я ничего подобного не испытываю. Мой гнев не проснулся даже в суде, когда я выслушивал все эти мерзкие показания. Возмущение – совсем иной огонь, оно не причиняет такой ужасающей муки. Мне удалось не высказать своего презрения, но это потому, что оно, в отличие от гнева, не имеет взрывной природы.

Иисус, ты так никогда не уснешь. Тряпка безвольная!

Я просыпаюсь.

Значит, мне было дано поспать. Это милость. Я благодарю Бога, хоть и думаю при этом, что говорить ему спасибо в такой день – это уж слишком. Но факт остается фактом: я спал.

Я чувствую, как в жилах струится сладость отдыха. Чтобы испытать эту негу, довольно нескольких минут сна. Я смакую ее – уверенный, что в последний раз.

Больше я не проснусь.

Один поэт, чье имя я не знаю, в будущем скажет: “Вся радость дня таится в утренней заре”⁴. Я того же мнения. Люблю утро. В этом часе дня есть какая-то несокрушимая сила. Даже если накануне случилось самое худшее, утро приносит чистоту.

Я чувствую себя чистым. Но я не чист. Этим утром чиста моя душа. От испытанного вчера презрения не осталось и следа. Не хочется радоваться раньше времени, но во мне внезапно возникла уверенность, что умру я без ненависти. Надеюсь, не ошибусь.

Последний раз пописать в уголке темницы. Я снова ложусь, и вдруг чудо: пошел дождь.

В это время года дождей не бывает. Я начинаю надеяться, что он будет затяжным. Тогда зрелище придется отменять: под дождем распинать бессмысленно, зрители разбегутся. Римляне хотят, чтобы на казни собиралась толпа, иначе им кажется, что их не одобряют. Они считают, что народ жаждет развлечений, а на забавы для узкого круга ему наплевать. Непогоде обстоятельства безразличны, но у Рима везде уши: если распять трех человек без стечения плебса, это будет воспринято как афронт.

Я всегда любил сидеть под крышей, когда шел проливной дождь. Восхитительное ощущение. Его довольно глупо соотносят с безмятежностью. На самом деле это удовольствие. Шум дождя требует крыши как резонатора: сидя под этой крышей, как нельзя лучше слышишь весь

⁴ Франсуа де Малерб, стансы “На бракосочетание короля и королевы”.

концерт. Чудесная партитура с тонкими переходами, рапсодическая, но без нажима; любой дождь сродни благословению.

Дождь переходит в настоящий потоп. Я представляю себе иную судьбу. Власти бегут от наводнения. Меня освобождают. Я возвращаюсь в свое захоlustье, женюсь на Магдалине, мы живем простой жизнью обычных людей. Раз плотник из меня никакой, я становлюсь пастухом. Мы делаем сыр из овечьего молока. Каждый вечер наши дети с наслаждением уписывают его и растут как на дрожжах. Нас ждет счастливая старость.

Искушение? Да. Когда я был моложе, я радовался своему избранничеству. Теперь во мне больше нет этого голода, я утолил его. Мне больше нравится тихая безликасть, то, что напрасно именуют заурядностью. Нет ничего более невероятного, чем обычная жизнь. Люблю повседневные заботы. Их повторение делает глубже дневные и ночные восторги: есть хлеб прямо из печи, ходить босиком по еще росистой земле, дышать полной грудью, ложиться рядом с любимой женщиной – можно ли желать чего-то иного?

Такая жизнь тоже кончается смертью. Но думается мне, что умирать в преклонном возрасте – совсем другое дело: угасаешь среди своих, это, наверное, почти как засыпать. Будь в моей власти избежать объявленного истязания, ничего лучшего я бы и не просил.

Дождь кончается. А с ним и распрекрасные допущения.

Все свершится.

“Прими”, – шепчет в моей голове благожелательный голос.

Один азиатский мудрец учит, что надежда и страх – лицо и изнанка одного и того же чувства, а потому нужно отказаться от них обоих. В этом есть смысл: я пережил напрасную надежду, и теперь мой ужас усилился. Однако слово, ради которого я умру, не осудит надежды. Быть может, это химера, но в любви, что из меня изливается, надежда присутствует без своей противоположности – страха.

Так или иначе, придется претерпеть эту безмерную муку. “Прими”. Разве у меня есть выбор? Принимаю, чтобы было не так больно.

* * *

За мной наконец приходят.

Я вздыхаю с облегчением. Худшее позади. Больше не нужно ждать казни.

Разочарование наступает очень быстро. Тут же начинаются кривляния. Мне надевают на голову терновый венец, насаживают поглубже, чтобы потекла кровь. Смешное не убивает, а жаль.

Меня публично бичуют. Не знаю, зачем нужна эта сцена. На закуску, честное слово. Дабы разжечь аппетит перед основным блюдом, распятием, ничего нет лучше сеанса бичевания. Каждый удар бича заставляет меня коченеть от боли. Милый голос у меня в голове опять твердит “прими”. На его фоне звучит другой, скрипучий голос: “Не наигрались еще”. Я подавляю нервный смех, его сочтут дерзостью. Жаль, что нельзя вести себя нагло, я бы поразвлекся.

Я запрещаю себе думать о биче, раздирающем меня мукой: дальше будет куда больнее. Подумать только, можно мучиться еще сильнее!

Зрители есть, но не так много. Это для избранных – тщательно отобранных ценителей. Они, похоже, находят, что кастинг удался: палач бичует отлично, жертва не лишена стыдливости, выступление высшей пробы. Спасибо, Пилат, твои приемы по-прежнему оправдывают свою славу. На продолжении увеселений мы, с твоего позволения, присутствовать не будем, они скорее во вкусе черни.

Снаружи меня ждет свинцовое солнце. Неужели меня бичевали так долго? Утро уже прошло. Мои глаза лишь через несколько минут привыкают к слепящему свету. Внезапно я вижу толпу. На сей раз прямо столпотворение. Людей так много, что они почти сливаются воедино. У них одинаковый взгляд – так смотрит жадность. Они не хотят упустить ни крошки из этого зрелища.

Дождь не оставил в воздухе ни малейшей свежести. Зато земля хранит о нем воспоминание, развезло на славу. Я замечаю крест, прислоненный к стене, мысленно прикидываю его вес. Смогу ли я нести его? Неужели у меня получится?

Дурацкие вопросы, у меня нет выбора. Смогу или не смогу, все равно придется.

Крест взваливают на меня. Такая тяжесть, что я едва не рушусь на землю. Дыхание перехватывает. Избавления нет. Как я выдержу?

Выход один – идти как можно быстрее. Легко сказать, у меня подкашиваются ноги. Каждый шаг дается немалым усилием. Я прикидываю расстояние до Голгофы. Нет, невозможно. Я умру гораздо раньше. Не так уж плохо, меня не распнут.

Однако я знаю, что распнут. Мне и вправду придется выдержать. Ну так не думай, это бесполезно, шагай вперед. Если б только не вязнуть в этой грязи, от нее крест становится вдвое тяжелее!

Вдобавок на моем пути толпятся люди. До меня доносятся потрясающие реплики:

– Что, теперь не умничаешь?

– Коли ты волшебник, так почему не выкрутишься?

Одно хорошо: не нужно стараться не презирать их. У меня и мысли такой нет. Вся моя энергия целиком уходит на ношу.

Не падать. Ни в коем случае. К тому же, если упадешь, придется подниматься. Это еще хуже. Заклинаю тебя, не падай.

Я чувствую, что сейчас упаду. Это вопрос пары секунд. Ничего не могу поделать, есть предел, я вот-вот его достигну. Так и есть, падаю. Крест расплющивает меня, я лежу носом в грязи. По крайней мере, есть несколько мгновений передышки. Я наслаждаюсь этой странной свободой, с удовольствием вкушаю собственную слабость. Конечно, на меня летит град ударов, но я их почти не чувствую, мне и так больно везде.

Ну вот, я снова поднимаю это чудовищное бремя. Я опять на ногах – шатающийся, знающий теперь, чего это стоит. Евангелие от Матфея, 11.30: “Ибо иго Мое благо, и бремя мое легко”. Не для меня, друзья мои. Благое слово обращено не ко мне. Конечно, я это знал. Но пережить это – совсем другое дело. Все мое естество бунтует. Шагать дальше мне позволяет только голос, тот, что я опознаю как голос оболочки, он без усталости шепчет: “Прими”.

Я думал, что достиг дна, но передо мной мама. Нет. Не смотри на меня. Пожалуйста. Увы, я вижу, что ты видишь и понимаешь. Глаза у тебя расширились от ужаса. Это не жалость, это за пределами жалости, ты переживаешь то же, что я, даже хуже, потому что всегда хуже, когда это твое дитя. Умирать на глазах матери противоестественно. Если она к тому же будет присутствовать при казни, это предел жестокости.

Это не последний прекрасный миг, это худший миг. У меня нет сил сказать ей, чтобы она ушла, да если бы и были, она бы не стала слушать. Мама, я люблю тебя, не смотри, как твой сын мучается, словно пес, не бери в голову мои страдания. Если б я только мог наслать на тебя обморок, мама!

У отца, никогда не внимавшего моим мольбам, есть странная манера являть мне, как бы это сказать, не свое участие и уж тем более не сострадание – мне сейчас приходит в голову только одно слово: свое существование. До римлян начинает доходить, что живым мне до Голгофы не добраться. Для них это будет плачевный провал: какой смысл распинать мертвеца? И

они идут искать раба по возвращении его с поля⁵, такого геркулеса; им оказывается какой-то прохожий.

– Ты мобилизован. Помоги этому осужденному нести груз.

Этот человек – чудо, пусть даже он получил приказ. Ни одного вопроса: видит незнакомца, который шатается под слишком тяжелой для него ношей, и не раздумывая помогает мне.

Помогает!

Такого со мной не случилось ни разу в жизни. Я не знал, каково это. Кто-то мне помогает. Неважно, что им движет.

Я готов расплакаться. Среди всего этого грязного отродья, что смеется надо мной и ради которого я приношу себя в жертву, есть человек – он пришел не упиваться зрелищем, и он мне помогает, помогает от всего сердца, это чувствуется.

Думаю, если бы он случайно выскочил на улицу и увидел, как я шатаюсь под крестом, он бы среагировал так же – без колебаний бросился бы на помощь. Бывают такие люди. Они сами не знают, насколько их мало. Спроси Симона Киринеянина, почему он так себя ведет, он не поймет вопроса: не знает, что можно поступать иначе.

Отец сотворил странное племя: либо негодяи, у которых обо всем есть мнение, либо щедрые души, которые не раздумывают. Мне в моем положении тем более не до раздумий. Выясняется, что в лице Симона у меня есть друг. Мне всегда нравились силачи. Не они вечно создают проблемы. Мне кажется, что крест стал невесомым.

– Позволь мне нести свою часть, – прошу я.

– По правде говоря, мне легче нести одному, – отвечает он.

Мне только того и нужно. Но римлян это не устраивает. Честный Симон пытается с ними объясниться:

– Крест-то не тяжелый вовсе. Мне куда больше осужденный мешает.

– Осужденный должен сам нести груз! – орет кто-то из солдат.

– Не понимаю. Вы хотите, чтобы я ему помогал, или нет?

– Надоел, убирайся к черту!

Симон смотрит на меня смущенно, словно оплошал. Я улыбаюсь ему. Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой.

– Спасибо, – говорю я.

– Тебе спасибо, – загадочно отвечает он.

Вид у него был удрученный.

Мне некогда с ним прощаться. Я должен идти дальше, тащить этот мертвый груз. И обнаруживаю нечто неожиданное: крест уже не такой тяжелый. Все равно ужасный, но эпизод с Симоном изменил расклад. Как будто друг унес с собой самую бесчеловечную часть моей ноши.

К этому чуду – а это именно чудо – я непричастен. Попробуйте найдите мне в Писании более невероятное волшебство. Зря будете стараться.

Жара чудовищная. Брови не справляются, пот со лба стекает в глаза, теперь я не вижу, куда иду. Римляне подгоняют меня ударами кнута, это и жестоко, и бесполезно. Не знал, что можно так потеть. Откуда во мне столько воды и столько соли?

Избавление приносит платок: кусок материи, она кажется мне упоительно мягкой, она касается моего лица шелковистой лаской. Кто способен на такой жест? Кто-то столь же добрый, как Симон из Кирены, но этот верзила не сумел бы с такой нежностью промокнуть мне лицо.

⁵ Евангелие от Луки, 17, 7.

Я не хотел, чтобы это кончалось, и в то же время хотел увидеть своего благодетеля. Платок убирают – передо мной самая красивая женщина на свете. Похоже, она растрогана не меньше меня.

Мгновение останавливается, время исчезает, я больше не знаю, кто я и что тут делаю, мне все равно, на меня смотрят огромные чистые глаза, у меня больше нет ни прошлого, ни будущего, мир совершенен, пусть все так и остается, мы оба в неизреченном и неотвратимом. Вот что такое любовь с первого взгляда, сейчас случится что-то громадное, нашему желанию недостает виртуозной музыки, но на сей раз она наконец зазвучит.

– Меня зовут Вероника, – произносит она.

Каким красивым может быть голос незнакомки, с ума сойти.

Удары кнута возвращают меня к реальности. Крест давит на меня снова, я тащусь вперед, ад начинается сначала.

Неважно – с тех пор как меня ведут на казнь, судьба ополчилась на меня, мне на голову валится все сразу, и лучшее, и худшее, я встретил дружбу, я встретил любовь. Вероника. Кто она такая? В моих ушах еще звучит музыка ее голоса, оказывается, мелодия может сделать мир легче, а полное свежести лицо – дать силы нести оружие собственной пытки.

На этой планете есть Симон Киринанин и Вероника. Две беспримерно высоких доблести.

Я возвращаюсь в свое время. Я борюсь. Какие силы не дадут мне рухнуть снова? Какая-то часть мозга вычисляет момент падения. Глаза видят место, где это случится. Я торгуюсь сам с собой: “Еще только один шаг... Еще только полшага...”

Падение – иллюзия отдыха. Но я все равно наслаждаюсь, падая во второй раз. Как приятно все бросить и подчиниться закону тяготения! На меня тут же градом сыплются удары кнута, сладостное ощущение длится лишь секунду, но в моем положении каждая секунда важна.

Мне кажется, что я несу, волоку этот крест много часов. Это наверняка не так. Препятствия вспоминаются с трудом. За время крестного пути меня восхитил мужчина, потом женщина. Еще я снова увидел мать. Про меня часто говорили, что я больше люблю женщин. В моих глазах любить один пол больше другого – признак презрения.

Девы Иерусалимские, плача, толпятся вокруг меня. Я пытаюсь убедить их осушить слезы:

– Ну-ну, все плохое пройдет, все будет хорошо.

Не верю ни единому своему слову. Хорошо не будет, будет только хуже. Просто их рыдания не дают мне дышать. Как помочь человеку? Уж точно не плачем. Симон помог мне, Вероника помогла мне. Ни тот ни другая не плакали. Они отнюдь не расплывались в улыбке, они совершали конкретные действия.

Нет, я не предпочитаю женщин. По-моему, они меня опекают. Думаю, объясняется это лишь тем, что держусь я с ними ласково, а это не в обычае у здешних мужчин.

Нужно ли уточнять, что и мужчин я не предпочитаю? От некоторых глаголов, вроде “предпочесть” и “заменить”, я бегу без оглядки – нельзя даже представить, насколько эти глаголы друг друга стоят. Я видел, как люди бьются за то, чтобы их предпочли, не понимая, что это делает их заменимыми.

Когда-то в будущем станут утверждать, что незаменимых нет. Это прямая противоположность моему слову. Любовь, снедающая меня, гласит, что незаменим каждый. Ужасно знать заранее, что моя казнь ничего не изменит.

Это не совсем правда. Несколько человек найдется, они поймут. Не исключая, что для этого им не нужна моя жертва. Этого я не узнаю никогда. Лучше не травить себя, не то мой удел станет еще страшнее.

Странные приходят мысли, когда волочешь крест. Называть это мыслями – преувеличение, это какие-то обрывки, вспышки. Моя ноша чересчур тяжела для меня. Никогда я не чувствовал себя таким ничтожным.

Жаль, я раньше не знал: не таскать слишком больших тяжестей – вполне достаточный идеал жизни. Блестящий урок, только теперь мне от него никакой пользы. Помню, я целыми днями ходил по дорогам и радовался, что счастлив просто так. Я не был счастлив просто так, я упивался легкостью.

Падаю в третий раз. Слова “глотать пыль” обретают буквальный смысл. Грязи больше нет, солнце иссушило землю. Уже видна вершина Голгофы. Почему я спешу туда попасть? Плохо верится, что на кресте я буду мучиться больше, чем сейчас, под крестом.

Все по опыту знают: когда взбираешься на гору и сперва смотришь на нее снизу, она не кажется высокой. Чтобы оценить ее высоту, нужно подняться на вершину. Голгофа – всего лишь пригорок, но мне кажется, что карабкаться на нее я буду вечно.

Не знаю, как я встал на ноги. Теперь для меня всё – усилие, все тело болит. Наверное, я крепкий, раз не теряю сознание. Последние шаги даются труднее всего, мне не дано радоваться тому, что я выдержал испытание, я знаю – то, что начинается здесь, иной природы.

Мне это сразу дают понять, самым простым способом: с меня срывают одежду. Это всего лишь льняной хитон и пояс, но теперь я наконец понимаю ценность этих тряпок.

Пока ты одет, ты что-то собой представляешь. Теперь я никто. Теперь я ничто. Голосок у меня в голове шелестит: “Тебе оставили набедренную повязку, могло быть и хуже”. Вот он, весь удел человеческий: могло быть и хуже.

Я не решаюсь смотреть на двух распятых – тех, что уже на месте. Не хочу причинять им боль, которую только что долго испытывал сам, – боль оттого, что тебя разглядывают.

Один из них насмешливо произносит:

– Ты же сын Божий, так попроси, чтобы отец тебя вытащил.

Я искренне восхищен: в своем положении он не утратил склонности к сарказму.

Слышу, как второй отвечает:

– Помолчи, он заслужил это меньше, чем мы.

Так страдать и все же защищать меня. Я тронут. Я благодарен этому человеку.

Нет, я не говорю ему, что он спасен. Говорить подобные вещи, когда человека так пытаются, значит насмеяться над людьми. А сказать одному распятому “ты спасен”, а другому – нет, это предельный цинизм и мелочность.

Я оговариваю эти моменты, потому что в Евангелия они не попадут. Почему? Понятия не имею. Евангелистов не было подле меня, когда все свершилось. И что бы там ни говорили, меня они не знали. Я на них не сержусь, но как же раздражают люди, считающие, что раз они вас любят, то и знают как свои пять пальцев.

На самом деле я питал к обоим распятым братское чувство по той простой причине, что скоро и мне предстоит пережить такую же казнь. Однажды, пытаясь описать мое отношение к тому, кого станут называть добрым разбойником, придумают выражение “позитивная дискриминация”. У меня нет своего мнения на сей счет, я знаю только, что эти двое растрогали меня, каждый по-своему. Ибо мне понравились слова доброго разбойника, но не меньше понравилась мне и гордость разбойника дурного, к тому же он вовсе не был дурным, не вижу ничего ужасного в том, чтобы украсть хлеб, и понимаю, что в такой ситуации ни у кого не будет угрызений совести.

* * *

Время пришло: я ложусь на крест. Теперь моя ноша будет нести меня. Вижу, как подносят гвозди и молотки. Я так боюсь, что трудно дышать. Мне прибивают ноги и руки. Это быстро, я едва успел опомниться. А потом мой крест поднимают и ставят между крестами моих братьев.

Тогда-то и приходит ко мне эта невероятная мука. Пробитые гвоздями ладони – пустяк по сравнению с тем, чтобы на них висеть, а с ногами все еще в тысячу раз хуже. Главное правило – только не шевелиться. Малейшее движение удесят�ряет и без того нестерпимую боль.

Я говорю себе, что скоро привыкну, что не могут нервы долго испытывать подобный ужас. Выясняется, что очень даже могут и что приборы эти фиксируют любые изменения, от самых ничтожных до самых громадных.

Кому сказать: волоча этот крест, я думал, будто цель жизни в том, чтобы не носить тяжестей! Смысл жизни в том, чтобы не страдать. Вот так.

Вырваться отсюда нельзя. Я весь во власти боли. От нее не спасет ни одна мысль, ни одно воспоминание.

Я смотрю на тех, кто смотрит на меня. “Ну и каково оно, то, что с тобой происходит?” Я читаю этот вопрос в бесчисленных глазах, сочувствующих и злорадных. Если бы пришлось им отвечать, я не нашел бы слов.

На злорадных я не сержусь. Во-первых, потому, что все мои способности поглощены страданием, а во-вторых, если моя боль может доставить кому-то удовольствие, то пусть лучше так.

Магдалина здесь. Видеть мать мне было неприятно, вид возлюбленной меня трогает. Она настолько красива, что сострадание не портит ее черты. Мне так больно, что душа моя криком кричит, хоть уста и замкнуты: невозможно представить себе подобающий крик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.